



Впервые я слушала его на собрании суфиев в моем родном городе Исфахане. Меня пригласили друзья и я пришла, ведомая любопытством. Мы уселись на полу в комнате, застеленной коврами. Он взял свой ситар и начал петь. Я расслабилась, закрыла глаза и у меня возникло странное чувство. Я ощутила звуки его песни как бы ниспадающими на меня сверху в потоке света. Я всплывала в этом потоке с неведомым мне дотоле чувством освобождения и радости. Восхождение моего духа и гармония звуков, окружающих меня, были неописуемо прекрасны! Я заметила, что плачу, исполнившись чувства невероятного смирения, того смирения, которое сопровождает первоначальный опыт причастности к истинной красоте.

Две недели спустя я была посвящена в суфийский орден Ниматуллахи мастером, возглавлявшим орден в то время, Масумом Али Шахом. Мы оба знали, однако, что пробудил мой дух и зажег во мне жаждание духовного пути - музыкант. Чем больше я слушала его игру, тем слабее становился мой интерес ко всему мирскому. Хотя он и был широко известен как один из лучших музыкантов своего времени, он играл и пел не так, как другие. В его игре отсутствовал элемент исполнительства. Искренность его голоса вызвала смущение у присутствующих. Его сосредоточенность была столь совершенной, а голос настолько безыскусен, что ты ощущал себя незванным гостем, пока музыка не

наполняла тебя. Когда я глубже соприкоснулась с орденом и обрела более тесную духовную связь с Моштаком, я начала ощущать, что его музыка несла в себе всё то, в чем я нуждалась. Пробудившись, я стала терять интерес к подробностям своего бывшего сна.

Однажды он повернулся ко мне и спросил: "Что ты ела сегодня?" За всё время мы обменялись лишь несколькими словами, и потому я была удивлена, смутилась и не знала, что ответить.

"Почти ничего", - промямлила я. Он ласково посмотрел на меня.

"Ты не должна терять здравый смысл, - сказал он. - Как и у любого человека, у тебя есть назначение в этом мире". И он угостил меня фруктами. У меня возникло ощущение подавленности. Я вспомнила тревогу в глазах моей матери, когда она заметила, что в последнее время я равнодушна к ее стряпне. Услышанное поразило меня. Я-то думала, что цель моего пути - оставить этот мир позади, и что лучшее средство для этого - сосредоточиться на свете, рожденном его песнями.

"А теперь ступай домой, - сказал он, - и успокой свою мать".

Я помчалась домой и, последовав его совету, как следует поела. С этого дня я поняла, что мой путь - это нечто больше, чем уход от мирского. Но я пока не знала, насколько больше.

В течение последующих нескольких месяцев он говорил со мной мало, но однажды, примерно через год после моего посвящения, он сказал, что вместе с небольшой группой вскоре покидает Исфахан, и хотел узнать, нет ли у меня желания присоединиться к ним. Я с радостью согласилась, сознавая, что каким-то образом заслужила это приглашение своим откликом на его совет.

С радостью приняв его предложение, я не могла представить себе, чем обернется это путешествие. Мне был двадцать один год, и я привыкла к беззаботной жизни. Благодаря

суфизму я начала утрачивать привязанность к физическим удобствам, но была совершенно не готова к психологическим и эмоциональным испытаниям, ожидавшим нас. Почти в каждом городе на нашем пути нас встречали враждебно и презрительно. Мгновенно распространялись слухи о том, что нас изгнали из Исфахана как вероотступников и колдунов. Где бы мы ни проходили, привечали нас редко, чаще встречая с опасением и ненавистью. Нам постоянно досаждали, и весьма реальная угроза, что нас арестуют и, возможно, казнят, витала над нами, порождая во мне беспокойство и раздражительность. Хотя меня более не заботила хорошая еда и одежда, я ощущала, что с трудом переношу напряженность ситуации.

Реакция Моштак на такое обхождение с нами всегда поражала меня. Казалось, он даже приветствует всё это, как если бы видел в преследованиях перст судьбы, и он принимал это так, как более никто, даже наиболее терпеливые и стойкие из нас, не был способен. Никто, кроме него, не обладал таким приятием, особенно это касалось молодых дервишей, подобных мне, которым было тяжело сдерживать желание отплатить обидчикам той же монетой. После одного знаменательного случая, когда нас забросали гнилыми овощами, я набралась смелости и спросила, отчего подобные вещи, как кажется, вовсе не задевают его.

"Я был ребенком, - неожиданно ответил он, - когда, купаясь в медном чане, случайно ударился головой о край и потерял сознание. Я навсегда сохранил это в памяти как знак того, что буду получать удары - и отвечать на них молчанием".

"Смолчать-то можно, - сказала я, - на это и я способна. Но, как кажется, это не стоит вам никаких усилий, тогда как у меня внутри всё кипит".

"Это оттого, - ответил он мягко, - что ты еще не поняла: здесь нет иных участников, кроме Него".

До меня дошло, что точно так же, как и крестьяне, которые забрасывали нас гнилью, я принимала с ненавистью и страхом всё, чего не понимала, и что мой гнев был попыткой испуганного ребенка сохранить свой мирок. Моштак был лишь на девять лет старше меня, но, казалось, ему во всем была присуща мудрость. У него было чему поучиться, его действия всегда были неординарны. Сам он производил удивительное впечатление: казалось, в нем одновременно и больше, и меньше человеческого, чем в любом, кого я когда-либо встречала.

Неисчерпаемая доброта и искренность придавали ему человечность, благожелательность и обезоруживающую чистосердечность. Хотя он был известен и своей музыкальной одаренностью, и физической красотой, я никогда не замечала в нем ни следа заносчивости или тщеславия. Не было в нем и скрытой агрессивности, однако он был смел, не прилагая к тому никаких усилий.

Несмотря на все эти превосходные человеческие качества, в нем было также и нечто не совсем человеческое, особенно когда он пел. Его лицо и тело казались сгустком света, облеченным плотью. Часто, когда я находилась рядом с ним, у меня было чувство, что он заставляет себя присутствовать, говорить, есть и смеяться, и что в действительности его сознание всегда готово отлететь - подобно стреле, вложенной в лук с натянутой тетивой.

Он казался человеком не от мира сего, и эта отстраненность отзывалась в его музыке, которая, казалось, приходила откуда-то извне. Его пение всегда оказывало на меня возвышающее воздействие, оно походило на нить, тянущую вверх, прочь от мирского. Его же человеческая сторона, его доброта и чувство юмора были подобны руке, дружески лежащей на моем плече и удерживающей меня в этом мире. Его бесстрашие, как и незлобливость, всегда поражали меня. Как-то я спросила, доводилось ли ему когда-либо испытывать страх.

"Да", - ответил он.

"Когда же?"

"Когда я был маленьким, мои братья частенько избивали меня палками. Родители наши умерли и некому было защитить меня. Я убегал в поля и целые дни и ночи проводил, валяясь на спине и глядя в небо. Во мне проснулось любопытство, я стал задаваться вопросами, наблюдая за драмой, происходящей надо мной. Я понял, что существует сила превыше меня и моих братьев, которая обращает день в ночь, а затем раскручивает звездный хоровод. Захотев узнать больше, я с радостью пошел в школу, куда отослали меня мои братья. Но в первый же день я понял, что учитель - человек невежественный и ничему научить меня не сможет. Он дал мне лист, исписанный буквами, с тем, чтобы я скопировал его, но не мог разъяснить мне смысл написанного. Я понял, что он и сам не

знал этого, так что же он мог знать о смысле круговращения небес? После этого меня отправили к поэту, который просто игрался словами и чьи уроки были лишены цели и какой-либо высокой значимости. В конце концов братья махнули рукой на моё образование и решили, что я обойдусь и без грамоты.

Как-то я попробовал подражать певцам, приехавшим в наш городок, и открыл для себя тот язык, на котором я смог учиться. Меня послали к мастеру-музыканту, обучившему меня игре на ситаре и пению. Я овладевал техникой игры - и еще чем-то гораздо более ценным. Я научился слышать.

Я услышал зов жаждания, который манил моё мятущееся сердце к своему первоистoku. Так я запел песню моего сердечного желания, песню моего возвращения.

В ответ на свою внутреннюю песню я услышал отклик - в кружении небес, и постиг, что их движение также является песней жаждания. Когда мелодия жаждания моего сердца и мелодия круговращения небес начали гармонично сливаться, я отдался притяжению любви, которая объединяет их, и оно увлекло меня к своему истоку, окружившему меня звуковым кольцом. Увлекаемый к изначальной точке этого кольца, я понял, что начало нашего творения - в любви. Постигнув, что эта точка вращается только чтобы любить, я воспринял любовный смысл этого зова: причина драмы творения - этот зов, который творение напевает Самому Себе, притягивая нас обратно к нашему истоку. Ответив зову вселенской любви, я потерял страх".

Слушая его, я начала понимать причину отстранённости Моштака. Он был упоён зовом любви, который большинство из нас не были в состоянии услышать. Я поняла, почему он никогда не записывал стихов, которые сами собой возникали на его устах во время пения, и почему он не писал трактатов о тех или иных аспектах духовного пути.

Он был более поглощен этой песней, чем кто-либо иной, и жаждал только слушать её и делиться ею. Все остальные же были глухи к этому зову, внимая лишь отголоскам - в его пении.

Тем временем положение в стране становилось все более неустойчивым, и таким же оказалось наше будущее. Как-то на пути в Кашан нас схватили, обойдясь с нами крайне

грубо и оскорбительно, и выдворили из области. Ведомые Масумом Али, мы направились в Машад, двигаясь по направлению к Герату, на восток. Реакция Моштака на жизненные невзгоды всегда была неизменной. Он был столь же уравновешен и спокоен, сколь я - выведена из себя и напугана. Однажды мне несказанно повезло - мне открылось, в чем коренится наше несходство.

Как-то, после того, как мы поспешно покинули одно селение, я обнаружила, что по дороге потеряла свою теплую накидку. Ночи бывали подчас весьма прохладными и я пожалела о своей рассеянности. Моштак заметил это и сказал: "На этом пути ты потеряешь больше, чем накидку".

Я знала об этом. Но это нисколько не убавило моих сожалений о накидке. Я не могла представить себе, как можно жить в этом мире, не желая чего-либо. Как же тогда можно выжить?

"Всё зависит от того, что ты хочешь", - сказал он в ответ на мой невысказанный вопрос. Чего же я хотела? Из бесед старших дервишей я по крохам узнала, что мне надлежит стремиться к исчезновению в Истине и тем самым достичь божественного Единства. Но, говоря по правде, я не очень представляла себе, что это значит, и потому не могла действительно этого хотеть. Я вспомнила, как впервые услышала его. Наверное, в то время я стремилась к красоте, вкус которой тогда извела. Я хотела постичь эту красоту. И мне хотелось всегда ощущать ее реальность.

"Я хочу узнать красоту Истины", - сказала я с чувством легкого стыда. Мне казалось, что этого недостаточно.

"Сначала тебе нужно найти свою собственную", - сказал он очень серьезно.

Я задумалась. Я поняла, что он имел в виду внутреннюю, духовную красоту, но недоумевала, как мне самой отыскать её в себе и отчего он был так уверен, что эта красота во мне есть.

"Как же мне найти её?" - неуверенно проговорила я.

"Не желая более чего-либо. Для себя".

У меня возникло такое ощущение, будто меня чем-то ударили. Скрытый смысл этого краткого совета настиг меня с невероятной силой. Именно поэтому, поняла я, он ничего не желает для себя. Утратив все желания самости, он потерялся в желании Любви, которая существует только для призывания Себя Самой. Он стал живым инструментом посредством которого песня любви и доброты звучала для всех, кто способен её услышать. Он мог только отдавать; и не потому, что был щедр или милосерден, но потому, что не мог иначе. Я испытала непередаваемый благоговейный трепет перед красотой его совершенства. Это было то, что удерживало его в этом мире; ему довелось стать мелодией благословения, которая звучит для каждого, и само его существование в этом мире стало актом служения. Он избрал это служение - остаться, чтобы петь тем, кто не слышит, и сносить их удары вместо того, чтобы покинуть мир, который он перерос. Причиной для того, чтобы оставаться здесь, он избрал для себя служение, исполненное сострадания. Таким образом он постиг суть всеобщей любви в нашем мире вражды и разделенности - точно так же, как он постиг ее в музыке сфер. Так он исполнял свою партию во всеобщем песнопении любви, которое пронизывает все уровни бытия, помогая их восхождению.

С этого дня он стал мне еще более дорог, и я яснее увидела свое действительное состояние. Я поняла, что почти всё, совершаемое мною, коренится в себялюбии, включая и мои духовные устремления. Ранее мне хотелось вкусить сладость экстатических состояний, теперь же я начала понимать, что такие состояния, несмотря на всю их красоту, не были сутью моего пути. Суть заключалась в чем-то ином, и он показал мне в чём - в служении.

Из Герата Масум Али Шах отправился в Индию, дав указание Моштаку, Нур Али Шаху⁶ и некоторым другим, включая и меня, возвратиться в Центральную Персию. Стало ясно, что Масум избрал своим преемником Нур Али. Мы двинулись обратно в Исфахан и у меня появилась возможность увидеть родных. Я столь многое узнала за время странствий - о себе, о Моштаке, об истинной природе своего пути, что мне хотелось на какое-то время задержаться в тихом местечке, чтобы усвоить опыт последних нескольких лет. Но этому не суждено было осуществиться. Из Исфахана мы отправились в Махан, где совершили паломничество на могилу основателя ордена Шаха Ниматуллы Вали. Оттуда мы направились в Керман. И там, наконец, мы обосновались на целых пять лет.

Это время, однако, не было мирным. Наше растущее влияние среди горожан привело в ярость местное духовенство и снова началась травля и кампания по разжиганию ненависти к нам. Ходили слухи о том, что нас должны арестовать и о возможных покушениях на нас. Распространялись нелепые обвинения, и мы стали подумывать об отъезде. Нур Али Шах уже уехал, и положение становилось все более напряженным.

Для тех, кто оставался, наиболее разумным в такой атмосфере было не попадаться на глаза, но Моштак был глух к нашим мольбам об осторожности. Его жажда петь приводила к тому, что люди быстро отыскивали нас, а его присутствие часто привлекало толпы народа. Однажды он отправился на прогулку, но к вечеру не вернулся .

Начав волноваться, я отправилась по улице к главной площади. Всё ускоряя шаг, я расспрашивала попадавшихся мне знакомых, но никто не видел его. Наконец я услышала крики и шум, доносящиеся из открытых дверей мечети. Я остановилась, оцепенев от ужаса перед тем, что мне предстояло увидеть.

Из двери в колоссальном портале мечети наружу выплеснулась толпа кричащих и толкающихся мужчин. Люди всё прибывали, выходя из мечети, и наконец я увидела его, зажатого в самой середине. Лицо его было спокойно. Они же все кричали, некоторые выкрикивали оскорбления, а один из них верховодил. На нём был тюрбан и чёрное одеяние. Я узнала его - это был высокопоставленный мулла, человек, люто ненавидевший суфиев и суфизм.

Воздевая вверх руки, он называл Моштака еретиком, неверным, сатаной, и обвисшие рукава его черного одеяния начинали реять на ветру. Он пронзительно кричал; остальные замолкли. Он говорил, что если они дадут Моштаку уйти, то будут прокляты. Они будут прокляты навечно, ибо позволили ему распространять его гнусную ересь в своём городе, отвращать простых людей от прямого пути Пророка и пятнать свою мечеть его несправедливым наставлением, богохульной доктриной и запрещенным пением мирских стихов. Он вопил, что пока они не перейдут к решительным действиям, Бог не примет их, поскольку они не восстали против "сатаны" среди них и не отважились вступить в священную битву в своем собственном городе. Он настаивал, что их долг - убить его, и что такое деяние дозволено кораническим учением. Он угрожал, что если они не исполнят свой долг, защищая и охраняя чистоту веры своих отцов, то будут неизбежно низринуты в ад вместе со своими невинными детьми, ибо из-за слабости взрослых и детям будет воспрещён доступ к прямому пути милости и благословения.

Я оцепенела, ощущая нарастающий тошнотворный страх внутри и вокруг себя, по мере того, как голос мужчины распался и увлекал толпу, а его руки металась в воздухе как черные птицы. Я взглянула сквозь толпу на своего мастера. "Останься!" - приказали его глаза, встретившись с моими. Затем он повернулся и окинул взглядом колышущуюся толпу: простые, недалёкие люди - их ужаснули только что прозвучавшие слова муллы.

Каждый в отдельности, глядя на Моштака, растворялся в его любви. Но толпа, казалось, обладала собственной личностью. Она стала продолжением человека в тюрбане, который искусно управлял ею своими точно выверенными словами. Когда его голос возвысился до режущего ухо крещендо, он достал из кармана камень и бросил в Моштака. Затем произошло то, чего никто не ожидал. Моштак раскрыл объятия, принимая камень, словно это был дар, а когда вдогонку полетели еще несколько, он запел. Он пропел призыв к молитве.

Потом я узнала, что чуть раньше он точно так же начал петь в мечети, сопровождая себя на ситаре. И его голос, как и сейчас, доносил грубым ушам давно знакомые слова в мелодии совершенной сладости, сложенной для пробуждения спящих сердец тех, кто был способен услышать её звучание. Это был тот самый призыв, который первоначально разъярил муллу, ставшего настраивать толпу против Моштака. Это был тот самый призыв, поднявший толпу против него. Никто и предположить не мог, что он начнет призывать вновь.

На мгновение всё замерло. Его чистый голос взлетел над мощёными камнями площади в вечернее небо. В первых же звуках я услышала зов всех тех, кто пел ранее с таким же жажданием возвращения. В его голосе я услышала и его собственный ответ голосам, звучавшим против него. Своими распростертыми руками и безыскусным голосом Моштак как бы раскрывал свое сердце - простить того, кто бросил первый камень, и всех тех, кто будет бросать в него камни после. Он любил их, не прилагая к тому усилий, до самой своей смерти, потому что знал, что в этом - суть предначертанного ему пути, и очами своего целостного восприятия в камнях, бросаемых ими, он видел дар своей Возлюбленной. И он любил их, сострадая им - ведь это были его братья, творящие жестокость из страха, еще слишком незрелые для того, чтобы услышать и понять. Принимая на себя их вину, Моштак простирал свои руки и пел, призывая на них благословение, в то время как в него швыряли белые камни, благословение тех, кто приносит себя в жертву, чей путь начинается и завершается в любви.

Эту удивительной красоты песню перебил яростный крик: "Убейте его! - заорал мулла, - кровь его дозволена вам!" Удары камней оборвали песню. Один глаз у Моштака начал затекать кровью, я видела, что он упал. Как только это случилось, люди перестали бросать камни. Человек в черном кинулся к телу Моштака, крича: "Готовься к смерти!" Он поднял руку, и в последних лучах дневного света я увидела блеск кинжального лезвия в его руке. Несколько человек в толпе выхватили ножи и ринулись вслед за ним.

В этот момент кто-то прорвался сквозь толпу и встал над распростертым телом Моштака. Я сразу узнала его, это был Джафар, один из моих сотоварищей-учеников, человек, глубоко преданный Моштаку. Он непоколебимо встал над его телом. Человек в черном пытался оттолкнуть его, но не смог. Толпа начала теснить его, но он стоял твердо, пока его не стали избивать кулаками. Их было слишком много. Вскоре и он упал, как Моштак, закрыв его своим телом в последней попытке оберечь. Они поделили поровну осыпавший их град кинжальных ударов. Стоял ужасающий шум, пронзительные крики и вопли, но ни Моштак, ни Джафар не издали ни звука.

Вскоре толпа стала рассеиваться. Люди разбежались в разные стороны, потрясённые, с белыми лицами, словно случилось нечто ужасное, с чем они не хотели иметь ничего общего. Мулла быстро и беззвучно исчез. Через десять минут на площади не осталось никого, кроме меня и тел двух моих друзей. Всё еще парализованная ужасом, я была не в состоянии принять то, свидетелем чему только что оказалась. Словно во сне, я медленно подошла к моим братьям, истекающим кровью, ощущая себя так, как если бы всё, ради чего я жила, ушло. У меня перед глазами стояло лицо Моштака, когда он взглянул на меня поверх толпы. Теперь я поняла, что он сделал это ради этого самого мгновения, когда мне захочется умереть. Я встала на колени возле них и зарыдала. Его белая одежда была пропитана кровью, рот и глаза кровоточили. Тело Джафара по-прежнему лежало сверху, прикрывая его.

Я вновь захлебнулась громкими рыданиями стыда - из-за того, что оказалась неспособной шевельнуться и не ринулась на его защиту, подобно Джафару. Я не приняла на себя удары, предназначенные ему. Я не погибла рядом с ним, хотя говорила, что он для меня - всё, чем я живу. Рыдая, я ощутила, что утратила надежду.

В последующие годы я жила как бы наполовину, видя вокруг только мерзость. Моштак и Джафар были погребены в одной могиле, в саду, примыкающем к площади и к мечети, где они были убиты. Несколько лет спустя Керман был осаждён и razорен Ага Мохаммад Ханом. На той же самой площади он сложил пирамиду из глаз, вырванных у мужчин, женщин и детей Кермана. Некоторые говорили, что это - Божья кара,

насланная на город, который убил близкого Ему. Но я-то знала - Моштак благословлял их. Проклятье же, если оно и было, исходило от людей, подобных мне, которые проклинали сквозь слезы из-за того, что из нашего мира украден драгоценнейший камень.

Моштак и был этим совершенным драгоценным камнем - ведь он видел только милость. Обретя совершенную целостность, он утратил способность в чем-либо видеть гнев. Спустя много лет я поняла, что, возможно, именно поэтому он и был убит - ведь такое существо кажется противоестественным явлением в мире, существующем благодаря сочетанию обоих миров. Тот, кто столь совершенен в своей милости, не может не притянуть негативную энергию других, становясь естественным магнитом для обвинений. Подобно магниту он вбирал в себя людской гнев, обращенный против него, возвращая им благословение вселенской милости. Думаю, он всегда знал, каким будет его конец. Он был, в каком-то смысле, слишком чист, чтобы жить в этом мире.

Дервиши окружили меня заботой, но и к ним пришли их собственные горести, и мы все боролись за то, чтобы сохранить веру и выжить. Масум Али Шах возвратился из Индии, но был схвачен и умерщвлен в тюрьме Керманши. Шесть лет спустя после гибели Моштака Нур Али Шах был отравлен в Муселе и там же похоронен. Сколько раз меня охватывало желание умереть вместе с ними! В конце концов я решила, что Моштак, должно быть, имел особую причину для того, чтобы я осталась жить, и я захотела понять - какую же. Той ночью я увидела его во сне. Он выглядел как обычно, лицо его сияло, глаза были такими знакомыми.

"Что же я должна делать?" - заплакала я.

"Открой меня в себе, - сказал он, - и ты избежешь скорби. Живи в служении".

В последний раз я рыдала и оплакивала его. Он выразил то, чему наставляла меня вся его короткая жизнь и о чем я забыла в беспамятстве своего отчаяния.

Со времени этого сна прошло тридцать лет, и орден по-прежнему живёт, как жива и я. Не могу сказать, удалось ли мне прожить эти годы в служении, но я жила, рассказывая молодым о безупречной красоте камня, которого они никогда не видели, и о

совершенной цели его пути, пути Единства и Жертвенности.

Не могу сказать, что я отыскала его в себе, но я постоянно слышу его. Я слышу его в звуке ситара, в голосах молодых дервишей, в вечернем призыве к молитве. По-прежнему слёзы навертываются у меня на глаза, когда я вспоминаю звук ангельского зова, сопровождаемый градом белых камней. Это был тот дар, который оставил мне Моштак.

Я слышу его и в звуках, которые вызывают у меня улыбку, и в смехе детей моих детей, и в их попытках петь. Я постоянно вижу его лицо как в тот, первый раз, когда я услышала его и рыдала, думая, что на землю снизошёл рай. Кто слышал его - никогда не забудет. Ведь зов его - внутри каждого из нас, одаренных благодатью более, чем мы сами о том подозреваем.

Каролина Мак-Катчен. Журнал "Суфий"